

18+

Арина Лорель

У страха есть имя

Арина Лорель

У страха есть имя

«Издательские решения»

Лорель А.

У страха есть имя / А. Лорель — «Издательские решения»,

У страха есть имя. И если ты узнаешь его — страх уходит. Илья Петрович двадцать лет проработал смотрителем в городском морге. Он привык к смерти, к холоду, к тишине холодильных камер. Но однажды утром на стене подвала появляется маслянистое пятно, которого раньше не было. А ночью оживает труп неопознанного утопленника. Так начинается история о «тихих гостях» — тех, кто умер без имени и без отпевания. Илья Петрович, стажёрка Анечка, загадочная Клавдия Ивановна...

© Лорель А.

© Издательские решения

Содержание

У страха есть имя	6
Глава 1	8
Глава 2	10
Глава 3	12
Глава 4	14
Глава 5	17
Глава 6	20
Глава 7	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

У страха есть имя

Арина Лорель

© Арина Лорель, 2026

ISBN 978-5-0071-1319-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

У страха есть имя

Пролог

Кирпичная стена подвала была мокрой на ощупь, хотя в городе не было дождя уже третью неделю. Илья Петрович, смотритель городского морга №7, знал это здание двадцать лет. Знал каждый скрип половиц, каждое пятно на линолеуме, каждую царапину на дверях холодильных камер. Но этого пятна он не помнил.

Оно появилось сегодня утром. Темное, маслянистое, размером с мужскую ладонь, оно расплылось по стене прямо за хирургическим столом, на котором прошлой ночью лежал гражданин, доставленный из реки. Неопознанный. Лет тридцати. С лицом, которое даже опытные патологоанатомы назвали бы «спокойным» — и это после трех дней в воде.

— Масло? — вслух спросил себя Илья Петрович, проведя пальцем по пятну. Палец остался чистым. Пятно было сухим. Оно выглядело как влажное, но не отдавало ни капли. Такое невозможно, но вот оно — есть.

Он сплюнул через левое плечо, по старой привычке мужа медсестры, которая верила в порчу. Затем вышел из подвала, щелкнув тяжелым засовом. Сердце стучало где-то у горла, но он убеждал себя, что это из-за духоты.

В холле морга его ждала стажерка Анечка, девятнадцати лет, с розовыми щеками и полным отсутствием инстинкта самосохранения. Она пришла на практику две недели назад и уже успела назвать труп «пациентом» и погладить по руке мертвую старуху, потому что «ей ведь тоже страшно, одной в камере».

— Илья Палыч, а почему у нас в регистратуре бумаги шевелятся? — спросила она, не отрываясь от телефона. — Я отошла за чаем, прихожу — все журналы сдвинуты на два пальца влево.

— Не выдумывай, — буркнул он, проходя мимо. — Сквозняк.

— Окна закрыты. Я проверяла.

Илья Петрович ничего не ответил. Он запер дверь в подвал, ключ положил в ящик стола и поверх положил тяжелую пепельницу, будто это могло что-то решить.

Но вечером того же дня случилось то, что он не мог игнорировать.

Человек из воды — без имени, без истории, без родственников — открыл глаза в 23:47.

Илья Петрович проверял термометры в холодильной камере. Это была рутина. Раз в смену. Температура, влажность, герметичность. Он открыл тяжелую дверь, шагнул внутрь и сначала не понял, что не так. Свет работал. Потом он заметил, что простыня, которой было накрыто тело, съехала в сторону. Он шагнул ближе, чтобы поправить, и столкнулся взглядом с двумя серыми, совершенно сухими глазами, которые смотрели в потолок.

— Ты... — прошептал он. Горло сжалось, и вместо крика вышел сиплый выдох.

Мертвец не шевелился. Но глаза были открыты. Илья Петрович смотрел на них целую минуту, надеясь, что это рефлекс, что веки просто разжались из-за посмертного расслабления мышц. Но нет. Зрачки были узкими. Суженными. Как у живого на ярком свете.

Он не знал, сколько простоял там. Выскочил он, когда тело медленно, невероятно медленно повернуло голову в его сторону. Без хруста. Без усилия. Просто — как поворачивается подсолнух к солнцу.

Захлопнув дверь камеры, Илья Петрович набрал номер заведующего отделением. Тот не ответил. Потом позвонил в диспетчерскую скорой. Сказал: «У нас ожил пациент». Ему посоветовали вызвать психиатрическую бригаду для него самого.

Тогда он сделал то, что никогда раньше не делал. Он позвонил жене.

— Зина, — сказал он в трубку, чувствуя, как зубная пломба начинает звенеть от вибрации в челюсти. — Ты говорила, что твоя сестра знает одну женщину. Которая видит. Мне нужен ее номер. Сейчас.

— Ты на работе? — спросила Зина голосом человека, который привык к странным звонкам. — Что случилось?

— У меня в камере мертвый смотрит на меня. Скажи мне, что это галлюцинация, я поверю.

Пауза.

— Держись от него подальше, — сказала Зина. — Я дам номер. Звать ее Клавдия Ивановна. Но она не ходит туда, где холод. Ты приедешь к ней сам. Утром. Понял?

Илья Петрович понял.

Он провел ночь в своем кабинете, втиснув стул под дверную ручку и держа в руках тяжелый металлический штатив для капельниц. Камера, откуда он выбежал, была заперта на два замка. И все равно каждые полчаса ему казалось, что он слышит шаги в коридоре. Мягкие. Босые. Мокрые.

А в шесть утра, когда начало светать, он вышел в коридор и увидел, что дверь в холодильную камеру приоткрыта.

Внутри никого не было.

Но на стене, на том самом месте, где утром появилось маслянистое пятно, теперь были слова. Они не были выцарапаны, не написаны мелом, не выложены — они проступили из кирпича, как пот на лбу. Тонкие, черные, идеально каллиграфические:

«Я не один. Мы все здесь. Идем к вам».

Подвал морга был пуст. Но пол был влажным на три шага от стены, будто кто-то только что прошел — босиком — в никуда.

Илья Петрович вышел на улицу, закурил впервые за семь лет и набрал номер Клавдии Ивановны.

Глава 1

Идти не хотелось. Каждое движение давалось через силу, будто тело вдруг разучилось подчиняться приказам мозга. Ещё час назад в старом «уазике» трясло так, что зуб на зуб не попадал, рёбра звенели, а позвоночник отбивал дробь о жёсткое сиденье. Теперь же, когда мотор заглох и вибрация ушла, навалилась другая, более тягучая тяжесть: ноги налились свинцом, подошвы прилипали к влажной осенней земле, а в груди разрастался холодный ком, не имеющий никакого отношения к погоде.

Илья Петрович, два десятилетия достававший людей из воды, из огня, из искореженного металла — этот самый Илья Петрович, чьи руки помнили сотни спасённых жизней и десятки неспасённых, — остановился перед ветхой калиткой, как перед пропастью. Он не боялся ни высоты, ни огня, ни замкнутого пространства. Но здесь, в этом забытом богом переулке на окраине райцентра, его впервые за много лет накрыло то самое чувство, которое он привык называть «предчувствием пустоты». Только пустоты здесь не было.

«Глупости, — сказал он мысленно, и голос в голове прозвучал чуждо, слишком громко для тишины. — Бабка. Иконы. Травы. По всей стране таких тысячи. Шарлатанки и выжившие из ума старухи. Ему бы к неврологу, а не к знахарке».

Он усмехнулся собственной трусости, но рука к калитке не поднялась.

Калитка скрипнула сама. Или послышалось — ветер шумел в голых ветвях, шуршал прелыми листьями, выл в водосточной трубе. Но скрип был отчётливый, древесный, похожий на стон. Илья Петрович дёрнул плечом, отгоняя наваждение, и толкнул створку. Та поддалась без сопротивления — словно ждала.

Запустение во дворе было видно, но не чувствовалось. Крапива в человеческий рост завалила гряды, полынь вылезла на дорожку, дикий выюнок оплёл покосившийся забор. Но это была не та заброшенность, что рождается от людского безразличия, — здесь чувствовалась рука, почти ослепшая, но ещё помнящая каждую ветку. Крыжовник был выстрижен под линейку — старые, дрожащие пальцы не могли бы сделать аккуратнее. Грядки взрыхлены, хотя и заросли бурьяном. А яблоня, росшая почти лежа, припавшая к земле, как усталая женщина, несла на себе три плода. Три красных яблока в середине октября, когда всё давно осыпалось и сгнило.

Птицы их не клевали, черви обходили стороной. Яблоки висели, налитые тяжёлым, почти кровавым румянцем, и в них было столько неправильной, несезонной жизни, что Илья Петрович невольно перевёл взгляд.

Перед крыльцом он замер снова. Ступеньки продавились, но держали — дерево стонало под сапогами, но не проваливалось. На перилах висело мокрое полотенце, выжатое, но не отжатое до конца — с него срывались тяжёлые капли, выбивая в земле частую, как пульс, дробь. Он коснулся ткани пальцами — ледяная, жёсткая, будто её не полоскали в воде, а держали на морозе. Рядом стояло ведро, наполненное почти до краёв. На поверхности плавала тряпка, выцветшая, с рваным краем, а под ней, на дне, тускло блеснула монетка.

Пять копеек. Ещё советских. Алюминиевый кружочек, почти стёртый, с гербом, которого давно нет.

Илья Петрович почувствовал, как волосы на затылке шевельнулись. Он не верил в приметы, но монетка на дне ведра, накрытая тряпкой — это было не случайно. Это было послание. Или плата. Или и то, и другое.

Он поднялся на крыльцо — половицы ахнули, но выдержали. Постучал костяшками в обитую выцветшим дерматином дверь. Глухо, три раза, как велит обычай.

За дверью молчали.

Минута. Вторая. Илья Петрович уже хотел постучать снова, более настойчиво, когда услышал шаги — шаркающие, неровные, будто кто-то волочил ноги по половицам, не отрывая ступней от пола. Шаги приблизились к двери и затихли. Потом дверь подалась на себя — медленно, с протяжным визгом петель, которые не знали смазки, — и в проёме показалась фигура, закутанная в чёрное до самой земли, а поверх — в вязаную шаль с длинными кистями.

Лица Илья Петрович не увидел. Только два глаза — бледно-голубые, как небо в сильный мороз, — глянули на него из-под платка. И в этом взгляде было столько нечеловеческой, выцветшей мудрости, что он невольно сделал шаг назад и чуть не оступился с крыльца.

Глава 2

Клавдия Ивановна совсем не походила на тех, кого показывают по телевизору в полуночных передачах про аномальные зоны. Ни чёрного платка до бровей, ни тяжёлых серебряных колец с тусклыми камнями, ни пронзительного, навывкате, взгляда, обещающего либо исцеление, либо проклятие. Глаза у неё были спокойные, даже будничные — светло-карие, с сеточкой морщин по уголкам, и смотрели они на Илью Петровича без всякой попытки заглянуть в душу или прочесть судьбу по линиям ладони.

Она стояла на пороге — сухая, маленькая, почти невесомая — в старой болоньевой куртке мышиного цвета, застёгнутой на все пуговицы, хотя в доме было тепло. На ногах — резиновые сапоги, левый перемотан синей изолентой в несколько слоёв, аккуратно, но с хозяйским расчётом: не на один день, а чтобы хватило надолго. Седые волосы, редкие и жёсткие, собраны на затылке в тугой пучок, который держался на одной-единственной шпильке, погнутой на конце. Зубов во рту осталось немного, и те — жёлтые, прокуренные, но когда она улыбнулась — коротко, без тепла, скорее обозначая приветствие, — Илья Петрович заметил, что улыбка у неё детская, почти беззубая, и от этого на миг стало не по себе.

— Заходи, — сказала она глухо, с хрипотцой, и голос её звучал так, будто она не говорила вслух несколько дней. Имя не спросила. Не представилась. Только посторонилась, пропуская его в тёмный коридор, пахнувший сыростью и старым деревом.

Илья Петрович шагнул через порог — и на мгновение ослеп. После уличного света, даже серого октябрьского, в доме было сумеречно, почти черно. Глаза привыкали медленно, и первое, что проступило из темноты, — низкий притолока, которую он едва не задел головой, и дощатый пол, выскобленный до белизны, но в трещинах забившийся чёрный песок.

Клавдия прошла вперёд, не оборачиваясь, и он двинулся за ней, слыша, как под её резиновыми сапогами поскрипывают половицы — ровно, размеренно, как маятник.

В доме пахло травами. Сначала он узнал мяту — резкую, холодную, ударившую в нос, как только он переступил вторую дверь. Потом зверобой, с его терпкой, чуть горьковатой нотой, и ещё что-то острое, почти едкое, отчего защипало в носу и на мгновение защипало глаза. Может, полынь. Может, пижма. И поверх всего этого — воск. Где-то в глубине дома горела свеча, хотя за окнами стояло утро, и солнечный свет сочился сквозь занавески, но его словно гасили стены. Свеча пахла не по-церковному, а тяжело, медово, с примесью чего-то прогорклого.

И четвёртый запах.

Илья Петрович замер на пороге кухни, когда ноздри уловили его. Этот запах он знал слишком хорошо — он въелся в память за двадцать лет работы. Формалин. Слабый, почти неощутимый, забитый травами и воском, но ошибиться было невозможно — ни с чем не спутаешь этот холодный, химически-сладкий, мёртвый дух. Он машинально сжал челюсти, и желваки на скулах напряглись.

Клавдия, не оборачиваясь, словно видела его спиной, произнесла:

— Не бойся. — Голос её был ровным, без тени удивления или оправдания. — Это я музей свой храню. Проходи на кухню.

Она толкнула скрипучую дверь, и перед ним открылось небольшое помещение, до странности светлое после коридорного полумрака. Белёная печь занимала почти треть комнаты, на плите закипал закопчённый чайник. На подоконнике — три горшка с геранью, все цветущие красным, хотя октябрь стоял на дворе. На столе, покрытом клеёнкой с потрескавшимся рисунком, стояла миска с мочёными яблоками, и от них шёл резкий, квашеный запах, перебивающий даже формалин.

Илья Петрович сел на табуретку, и та качнулась под ним — одна ножка была короче других, подложена картонка. Клавдия Ивановна поставила перед ним кружку с мутным отваром, не спросив, хочет ли он пить.

— Пей, — сказала она, садясь напротив и складывая руки на столе — сухие, жилистые, с распухшими суставами, пальцы скрючены, но в них чувствовалась сила. — Приехал — значит, надо. Не спрашивай про формалин. Я тебе всё расскажу, но после.

Она посмотрела на него в упор — и в этом взгляде не было ни загадки, ни проницательности. Было только спокойное, выцветшее знание, которое не нуждалось в вопросах. И Илья Петрович вдруг понял, что боится не её, не дома, не запаха мёртвого. Он боится того, что она скажет. И того, что он ей поверит.

Глава 3

На кухню свет попадал скупое, но настойчиво — единственное окно выходило прямо на кривую яблоню, и сквозь голые ветви октябрьское солнце пробивалось пятнами на дощатый пол, на выцветший половик, на столешницу, заставленную банками. Их было много, они теснились на подоконнике, в углу, даже на полу под печкой — старые литровые банки с закручивающимися крышками, в каждой что-то тёмное и волокнистое плавало в мутной, желтоватой жидкости. Иногда со дна поднимались мелкие пузырьки — медленно, лениво, будто там, внутри, всё ещё тлела какая-то жизнь.

Илья Петрович невольно всматривался в содержимое, пытаясь угадать, что это: корни, грибы, части растений — или что-то иное, о чём не хотелось думать. Клавдия, перехватив его взгляд, молча сдвинула одну банку ближе к себе, заслонив ладонью, и поставила на стол две гранёные кружки. Золотая кайма на них облупилась почти полностью, остались только серебристые царапины от ложек да тонкая паутинка трещин на доньшках.

Чай она налила из заварника, который всё это время грелся на плите — чугунного, закопчённого, с отбитым носиком, зато с деревянной ручкой, отполированной до блеска. Пар поднимался густой, с пряным запахом, в котором Илья Петрович уловил чабрец, душицу и ещё что-то неуловимо-сладкое, почти приторное.

Он отпил — осторожно, обжигаясь. Во рту разлился необычный вкус: чай был густой, чёрный, с яркой травяной горечью, но следом приходила странная сладость, тягучая, похожая на сироп от кашля, который давали в детстве. Сладость оседала на нёбе, обволакивала горло и, кажется, спускалась ниже, в грудь, тёплой и плотной волной.

— Пей, — сказала Клавдия, садясь напротив и пододвигая к нему блюдо с сухарями. — Сердце успокоится. А то у тебя там, — она коротко ткнула костлявым пальцем ему в грудь, чуть левее центра, туда, где под рёбрами уже несколько дней ныло глухим, тянущим напряжением, — прыгает как заяц, когда перед ним собака.

Илья Петрович не стал спорить. Он сделал ещё глоток, потом ещё — и действительно, через минуту почувствовал, как пульс замедляется, как напряжение в висках отпускает, а плечи сами собой опускаются, будто кто-то снял с них невидимый груз. Мысли, до этого мечущиеся и рваные, словно подёрнулись дымкой — не мутной, а проясняющей, отчего детали вставали на свои места, а страх отступал на задний план, превращаясь в обычное любопытство. Он выдохнул, провёл ладонью по лицу и посмотрел на Клавдию Ивановну уже не как на последнюю надежду, не как на чудаковатую бабку из телевизора, а как на обычного человека — с которым, однако, предстоял серьёзный разговор.

— Рассказывай, — велела она. Голос её стал другим — более сухим, собранным, как у человека, привыкшего слушать и анализировать. — С самого начала. Как пятно увидел — не пропускай. Я хочу слышать всё, даже то, что сам считаешь ерундой.

Илья Петрович на мгновение зажмурился, собираясь с мыслями. Потом заговорил — сначала медленно, подбирая слова, потом быстрее, потому что слова полились сами, освобождая память. Он рассказал про маслянистое пятно на стене морга, которое на ощупь оказалось сухим — странное, необъяснимое, будто выжженное изнутри. Про бумаги на столе, сдвинутые на два пальца от того места, где он их оставлял, — будто кто-то перебирал их, пока его не было. Про то, как он вскрыл холодильную камеру и увидел глаза — открытые, смотрящие прямо в потолок, хотя пациент должен был быть мёртв уже трое суток. Про то, как он бежал, не помня себя, захлопнув дверь, и как вернулся через десять минут, чтобы проверить — дверь оказалась приоткрытой, а внутри никого. И про надпись, выведенную на пыльной стойке регистратуры мелом, которого у них отродясь не водилось: *«Я не один. Мы все здесь. Идем к вам»*.

Он замолчал. Голос сел, в горле пересохло, и он сделал ещё глоток чая — теперь уже без удовольствия, просто чтобы смочить.

Клавдия слушала, не шевелясь. За всё время она ни разу не перебила, не задала уточняющего вопроса, не покачала головой. Только один раз подняла руку и провела пальцами перед его лицом — медленно, почти касаясь кожи, будто смахивала невидимую паутину или проверяла, не идёт ли от него жар. Илья Петрович не дёрнулся — чай сделал своё дело, и он уже не боялся, а скорее ждал, что скажут дальше.

— Ты не врёшь, — сказала Клавдия, когда он закончил, и голос её был ровным, как показания прибора. — И не сумасшедший. Это видно. Сумасшедшие детали не запоминают — только страх. Они говорят: «там было страшно», но не скажут, что пятно маслянистое, а бумаги сдвинуты на два пальца. А ты запомнил. Значит, видел.

Она допила свой чай до дна, поставила кружку на стол, потом достала из кармана куртки папиросу без фильтра — «Прима», старая, смятая, — чиркнула спичкой, прикурила и долго смотрела в окно на яблоню. Три красных плода всё так же висели на ветках, и солнечный свет застревал в них, делая их похожими на маленькие светофоры в конце пути.

— Клавдия Ивановна Строганова, — сказала она вдруг, не оборачиваясь, и голос её прозвучал официально, будто она диктовала анкету. — Сорок семь лет проработала судмедэкспертом в областном бюро. Ушла пять лет назад. Не по возрасту — сил больше не было. Не физических — я ещё могла резать и шить. А душевных. Потому что видела такое, от чего другие сходили с ума, и научилась молчать. Но кое-что я молчать перестала.

Она повернулась к нему, выпустила струю дыма в потолок и прищурилась.

— То, что ты описал, Илья Петрович, я видела трижды за свою карьеру. Первый раз — в семьдесят девятом, второй — в девяносто третьем, третий — в две тысячи шестом. Все случаи — в разных моргах, на расстоянии тысяч километров. Все — с мёртвыми, которые открывали глаза. И везде — пятна на стенах, маслянистые, но сухие, и надписи о том, что они идут. Я тогда не знала, как это назвать. Теперь знаю. Но сначала ответь мне: ты веришь в то, что мёртвые могут двигаться?

Она посмотрела ему прямо в зрачки, и Илья Петрович почувствовал, как чай внутри него застывает ледяным комком. Он хотел сказать «нет», но вспомнил глаза в холодильнике — и промолчал.

Глава 4

Клавдия говорила с паузами. Каждое слово будто вынимала из себя с усилием, давая ему время осесть, прежде чем произнести следующее. Затягивалась — дым тонкой струйкой тянулся к потолку, расплываясь там серым облачком, — молчала, глядя сквозь окно на яблоню. Часы с кукушкой, висевшие над дверным проёмом, тикали громко, нарочито, с таким металлическим перестуком, что слышно было, как шестерёнки цепляют друг друга, как пружина медленно разматывается где-то внутри деревянного корпуса. Но кукушка не выскакивала. Может, сломалась, думал Илья Петрович. Может, не время.

Он сидел неподвижно, сжимая в ладонях остывшую кружку, и старался не смотреть на банки. В его голове перемешивались слова Клавдии, собственные воспоминания о глазах в холодильнике, запах формалина, который всё ещё чувствовался здесь, несмотря на травы. Когда она повернулась к нему с вопросом о том, верит ли он, Илья Петрович хотел сказать «нет» — привычный рефлекс, профессиональная броня, которой он прикрывался двадцать лет. Но вместо этого он услышал собственный голос, незнакомый, хрипловатый:

— Я не знаю, во что я верю. Но я знаю, что видел.

Клавдия кивнула, будто только этого и ждала. Она закурила папиросу, затушила окурком о край блюда, которое служило ей пепельницей — тонкого фарфорового, с отбитым краем и позолоченным узором, почти стёртым, — и глубоко вздохнула.

— Дар не врождённый, — сказала она, и голос её стал тише, словно она делилась не просто воспоминанием, а тайной, которую не доверяла даже стенам. — Он приходит. Иногда его приносят — как заразу, как проклятие, как долг. Иногда он сам является, когда человек оказывается на грани между жизнью и смертью, между сном и явью. Мне он пришёл на секционном столе. Женщина, тридцать два года, повесилась в камере предварительного заключения. Ничего необычного, рядовая смерть. Вскрываю — делаю разрез, отвожу кожу, а она глаза открывает. Смотрит на меня, пристально, так, будто я у неё на операционном столе, а не она у меня. И говорит: «Печень не трогай, она чистая. Ты её не тронь». Я иглу из пальцев выронила, отшатнулась, чуть скальпелем по руке не полоснула. А она глаза закрыла — и всё. Ни пульса, ни дыхания, никаких рефлексов. Труп как труп, холодный, синюшный, обычный. А я слышала.

Илья Петрович открыл было рот, чтобы выдать привычное объяснение, тот самый профессиональный рефлекс, от которого Клавдия его только что предостерегла.

— Посмертная рефлекторная активность, — сказал он всё равно, потому что язык повиновался быстрее разума. — Мышечные сокращения, остаточные явления в нервной ткани, иногда голосовые связки при выходе воздуха...

— Знаю, — перебила Клавдия, и в голосе её прорезалась усталость, накопленная десятилетиями таких объяснений. — Я сама эти лекции студентам двадцать лет читала. Про рефлекс, про контрактуры, про газы в кишечнике, про трупное окоченение. А когда брови у трупа двигаются в такт твоим словам, когда он кивает — нет, не от мышечного спазма, а именно кивает, понимаешь, осмысленно, — это не газы. Это не газы, Илья Петрович.

Она замолчала и уставилась в потолок, где от её папиросы расплзлось серое пятно. Потом провела ладонью по лицу, будто стирая с себя невидимую пыль, и продолжила:

— После того случая я стала нити видеть. Не сразу. Года через три. Сначала только на столе — над теми, кто лежал не от болезни, а от несчастного случая или насильственной смерти. Потом в коридоре морга — над каталками, над шкафами с документами. Потом на улице, над людьми. Чёрные, тонкие, как паутина. От мёртвых к живым тянутся. Бывает, длинные, как верёвки, через весь город. Бывает, короткие — на два пальца, будто кто-то только коснулся и отпрянул. Сначала думала — галлюцинации. Пошла к психиатру, к своему, из

областной больницы, он меня много лет наблюдал. Посмотрел, послушал, сказал: «Стресс, переутомление, возьми направление в санаторий. Две недели на озере — и всё пройдёт».

— И что? — спросил Илья Петрович, и голос его прозвучал хрипло, потому что горло сжалось — не от страха, а от внезапного узнавания. Он слышал в её словах эхо собственных ночей, когда он просыпался от того, что кто-то зовёт его по имени, хотя в комнате никого не было. Эхо тех моментов, когда он стоял перед холодильной камерой и знал — знал наверняка, — что за дверью его ждут. Не труп. Кто-то. Или что-то.

— А то, что от санатория нити не пропали. — Клавдия горько усмехнулась, обнажив жёлтые редкие зубы. — Уехала на озеро, пила кефир, дышала соснами, смотрела на уток. Вернулась — нити на месте, только больше стало. Тогда я поняла: они не в голове. Они в мире. Просто другие их не видят, а я вижу.

Она встала резко, почти рывком, так что табуретка скрипнула по полу. Подошла к окну — яблоня за стеклом качнулась от ветра, три красных плода качнулись тоже, как подвешенные на невидимых нитях, — и провела пальцем по внутренней стороне стекла, от верхнего края до нижнего. На стекле остался след — чёрный, жирный, как сажа, хотя пальцы у неё были чистыми. Илья Петрович невольно подался вперёд, разглядывая полосу, которая медленно, но заметно таяла, словно испарялась в воздухе.

— Хочешь, покажу, что я вижу? — повернулась Клавдия к нему, и в глазах её мелькнуло что-то острое, почти испытующее. — Только сиди смирно, не дёргайся. И не кричи. Договорились?

Илья Петрович кивнул. Руки его, лежащие на столе, дрожали мелкой дрожью, но он не стал их прятать — не было сил притворяться. Клавдия подошла к нему, встала за спиной, и он почувствовал исходящий от неё запах — не трав, не воска, а чего-то сухого, старого, как пожелтевшие страницы книги, которую не открывали много лет. Она положила ладони ему на виски — пальцы у неё оказались холодными, шершавыми, с распухшими суставами, — и что-то зашептала.

Слова были незнакомыми, гортанными, без ритма, похожие на обрывки древнего языка. Илья Петрович не понял ни одного, но внутри него, под рёбрами, что-то откликнулось — тупой, короткой болью, как удар тока.

— Не сопротивляйся, — шепнула Клавдия ему в ухо, и голос её звучал отдалённо, будто она говорила с другого конца длинного коридора. — Просто смотри.

Он посмотрел на стол — и сначала ничего не изменилось. Те же банки, та же кружка, тот же заварник. Потом, на границе зрения, замерцало — будто воздух над остывшим чаем пошёл рябью. Он моргнул, и рябь стала гуще, чётче. Из углов, из-под печки, из щелей между половицами поползли тонкие, как волосы, нити. Они поднимались вверх, извиваясь, переплетаясь, и каждая была чуть различима — чёрная, матовая, без блеска, как паутина, которую плетут не пауки.

— Смотри на яблоню, — сказала Клавдия, не убирая рук.

Он перевёл взгляд на окно. Сквозь стекло, которое за секунду до этого было чистым, он увидел, как от каждого из трёх красных плодов отходит по нити — тонкой, почти прозрачной, но явственной, — и эти нити тянутся вверх, в небо, и теряются где-то в облаках. А от самой яблони, от её корявого ствола, от корней, уходящих в землю, поднимались десятки других нитей — серых, толстых, похожих на канаты, — и они уходили в землю, сквозь пол, сквозь фундамент, в глубину, откуда пахло сыростью и чем-то сладковатым.

— Они везде, — прошептал Илья Петрович, и голос его сорвался.

— Везде, — подтвердила Клавдия. — Теперь посмотри на себя.

Он опустил глаза — и замер. От его собственной груди, из той самой точки, куда она тыкала пальцем минуту назад, тянулась нить. Толстая, туго натянутая, почти белая, в отличие

от других, — и уходила она не в потолок и не в пол, а в стену, на север, туда, где находился районный морг. И на конце этой нити, далеко, за пределами видимого, пульсировал тусклый, тёплый свет, как от лампочки, которая вот-вот перегорит.

— Что это? — спросил он, не в силах оторвать взгляд. — Что это значит?

Клавдия убрала руки, и видение исчезло мгновенно — нити пропали, воздух стал обычным, на стекле не осталось следа, только яблоня за окном качалась под ветром. Илья Петрович резко выдохнул, будто его держали под водой и отпустили.

— Это значит, — сказала Клавдия, садясь напротив и наливая себе ещё чаю, — что ты привязан, Илья Петрович. К тем, кто лежит у тебя в морге. К тем, кто идёт. И они чувствуют тебя так же, как ты чувствуешь их. Нить не рвётся просто так. Её можно только перерезать. Или отпустить. Выбирай.

Она пододвинула к нему блюдо с окурками и положила рядом старый, ржавый перочинный нож, который достала из кармана куртки.

— Но сначала скажи: ты хочешь знать правду до конца? Или ты хочешь забыть и уехать, как будто ничего не было? Потому что если выберешь второе — я дам тебе отвар, ты выпьешь, и утром не вспомнишь ни этого дома, ни меня, ни нитей. Но если выберешь первое — ножом придётся пользоваться. И не по верёвкам.

Она посмотрела ему в глаза, и Илья Петрович понял: она не шутит. Ни одна жилка на её лице не дрогнула. Он перевёл взгляд на нож — лезвие было сточено почти до основания, но рукоять хранила отпечатки тысяч пальцев, истёртая, тёплая на вид, живая. И, не задумываясь, он протянул руку и взял его.

Глава 5

Клавдия достала свечу из ящика кухонного стола — не из того, где лежали ложки и вилки, а из нижнего, задвинутого глубоко, прикрытого старой газетой. Свеча была чёрной, толстой, почти с кулак, с оплывшими боками, застывшими потёками, похожими на сталактиты. Фитиль торчал криво, обугленный на конце, будто её уже зажигали — и не раз. Клавдия поставила свечу в центр стола, на перевёрнутое блюдо, и чиркнула спичкой. Пламя вспыхнуло не сразу — фитиль зашипел, закоптил, выпустил тонкую струйку чёрного дыма, и только потом занялся ровным, дрожащим огнём.

— Смотри на огонь, — сказала она, садясь напротив и складывая руки на коленях. — Не щурься. Глаза расслабь, как будто смотришь вдаль. Не пытайся разглядеть что-то конкретное. Просто смотри.

Илья Петрович перевёл взгляд на пламя. Сначала оно было обычным — жёлтым в середине, синим у самого фитиля, с лёгким оранжевым ореолом по краям. Огонь дрожал от сквозняка, чуть колебался, отбрасывая на стены длинные, покачивающиеся тени. Секунды шли, а ничего не происходило. Он уже хотел спросить, сколько это будет длиться, когда Клавдия заговорила снова — и голос её пришёл откуда-то сбоку, хотя она сидела прямо перед ним.

— Я вижу нити затылком, — сказала она, и в голосе её появилась та странная, отстранённая интонация, которую он уже слышал, когда она шептала слова перед его лицом. — Ты так не умеешь, не научился ещё. Поэтому гляди через свечу. Огонь — это линза. Он показывает то, что спрятано за светом.

Илья напрягся, но тут же вспомнил её слова про расслабленные глаза. Он выдохнул, опустил плечи, позволил взгляду расфокусироваться — и мир вокруг поплыл. Края предметов размылись, стол, стены, банки на подоконнике превратились в расплывчатые пятна, и только свеча осталась резкой, чёткой, сияющей точкой в центре всего. Пламя замерцало, вытянулось вверх, и вдруг в нём что-то изменилось — цвет стал глубже, насыщеннее, синева у фитиля разлилась вниз, и оттуда, из самой сердцевины огня, начали выползать тени.

Сначала просто тени — как от пальцев, поднесённых к пламени. Потом они стали гуще, плотнее, и Илья Петрович понял: он видит нити. Они тянулись от его рук — от запястий, от пальцев, от тыльной стороны ладоней — тонкие, чёрные, шевелящиеся, как щупальца медузы. Они расходились в разные стороны: одни уходили в пол, просачиваясь сквозь доски, другие — в стены, третьи — в потолок, где терялись в темноте под самой крышей. Нити были разной толщины: одни — почти невидимые, тонкие, как паутинка, другие — толще, сантиметра в полтора, тугие, натянутые, с едва заметной пульсацией. Илья насчитал десятки. Может, сотни.

Он попытался пошевелить рукой — и нити на мгновение дрогнули, но не порвались, а только слегка ослабли, будто резиновые.

— Это те, кого ты видел за двадцать лет, — сказала Клавдия, и голос её доносился словно из-под воды — приглушённый, тягучий. — Все, кто лежал у тебя на столе, кого ты закрывал в холодильной камере, кого оформлял и отправлял на последний путь. Они к тебе привязаны. Ты — последний, кто их видел в этом мире, кто касался их кожи, кто закрывал им глаза. Они ждут, пока ты вспомнишь их. Каждого. По имени.

Илья Петрович почувствовал, как в груди сжимается холод — не страх, а что-то более древнее, первобытное, то самое чувство, которое он испытывал в детстве, когда впервые остался один в тёмной комнате. Ему захотелось отдёргнуть руки, встать, выбежать из этого дома, но тело не слушалось — нити держали его, не давая пошевелиться, не больно, но настойчиво, как будто сотни невидимых рук держали его за запястья и плечи.

Он перевёл взгляд в центр — туда, где из свечи тянулась самая толстая нить. Она шла от его груди, та самая, белая, почти светящаяся, которую он видел раньше, — но сейчас он заметил, что от неё ответвляется другая, чёрная, как смоль, уходящая за окно. И на конце этой чёрной нити, прикреплённое к ней, будто на леске, висело лицо.

То самое. Из воды. Из холодильной камеры. Лицо, которое он вытащил из затопленного подвала три дня назад, вскрыл, зашил и убрал в камеру, а потом увидел открытые глаза. Оно висело в воздухе за окном, за стеклом, призрачное, почти прозрачное, но с чёткими чертами: впалые щёки, серая кожа, закрытые глаза — сейчас закрытые, — и капли воды на волосах, хотя за окном было сухо.

— Видишь его? — спросила Клавдия.

— Да, — выдавил Илья, и голос его прозвучал чужим, тонким, как у подростка.

— Он не как другие. — Клавдия говорила медленно, взвешивая каждое слово. — Обычные мёртвые просто ждут, чтобы их вспомнили, чтобы их отпустили. Они тянутся, но не требуют. А этот пришёл не просто так. У него задание. Кто-то или что-то отправило его к тебе. Он — связной.

Свеча дрогнула, пламя качнулось в сторону, и лицо за окном на мгновение проступило ярче — Илья Петрович увидел, как веки шевельнулись. Не открылись, а именно шевельнулись, будто человек под ними пытался проснуться, но не мог.

— Кто его отправил? — спросил он, не отрывая взгляда от окна.

— Узнаешь, если решишь пойти до конца. — Клавдия щёлкнула пальцами — резко, сухо, как удар хлыста. — Всё. Довольно на сегодня.

Свеча погасла мгновенно, будто кто-то задул её изнутри. Чёрный дымок тонкой спиралью поднялся к потолку и растаял. Илья Петрович моргнул — и нити исчезли, лицо за окном пропало, яблоня стояла как стояла, ветер качал три красных плода. Всё стало обычным, серым, будничным, как до того.

Но от пальцев до локтей бежали мурашки — холодные, мелкие, непроходящие. Он потёр руки, но мурашки не унимались, словно тысячи маленьких иголочек кололи кожу изнутри.

— Что теперь? — спросил он, поворачиваясь к Клавдии. В голосе его слышалась хрипотца, но он уже не пытался казаться спокойным.

Клавдия собрала свечу — убрала обратно в ящик, прикрыла газетой, задвинула стол. Потом села напротив, отпила остывшего чая, поморщилась и поставила кружку на стол.

— Теперь ты выбираешь, — сказала она. — Я показала тебе, что вижу. Ты сам увидел нити. Сам увидел его. Это не галлюцинация, Илья Петрович, и не сон. Ты не мог такое придумать, потому что ты не знал про нити до сегодняшнего утра. Значит, они есть. Значит, есть и он. И значит, есть то, что за ним стоит. Теперь вопрос: ты хочешь вытащить его из своей камеры и из своей головы — или хочешь, чтобы он вытащил тебя?

Илья Петрович долго молчал. Смотрел на свои руки, которые больше не дрожали, но всё ещё чувствовали ту странную, чужую тяжесть — будто на них лежали тысячи невидимых нитей. Он вспомнил глаза в холодильнике, вспомнил надпись мелом, вспомнил холодную сырость морга и жёлтый свет лампы над секционным столом. Вспомнил, как он вытаскивал того человека из воды — синего, мёртвого, с открытым ртом, в котором застряла водоросль. И как потом, спустя сутки, он открыл камеру, чтобы проверить, — и увидел глаза, которые смотрели на него.

— Я не могу так жить, — сказал он тихо, почти шёпотом. — Не могу больше заходить в морг и бояться, что там кто-то есть. Не могу бояться собственных рук. — Он поднял глаза на Клавдию. — Что делать?

Клавдия посмотрела на него долго, пристально, и в её выцветших глазах мелькнуло что-то похожее на уважение.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда слушай. То, что я скажу дальше, ты не расскажешь никому. Ни жене, если есть, ни начальнику, ни священнику. Это знание не для чужих ушей, потому что от него сходят с ума. Ты готов?

Илья Петрович кивнул.

— Завтра в полночь ты вернёшься в свой морг, — сказала Клавдия, и голос её стал жёстким, будто сталь. — Возьмёшь с собой этот нож и чёрную свечу, которую я тебе дам. И ты откроешь камеру, в которой лежит он. Ты вызовешь его — по имени, которое я скажу. И ты спросишь: кто тебя послал. Он ответит. Но ты не должен смотреть ему в глаза, Илья Петрович. Как только он откроет их — ты зажги свечу и режь нить. Ту, что от тебя к нему. Режь, не думая, не колеблясь. Если замешкаешься — он уйдёт не один. Он заберёт тебя с собой.

Она подвинула через стол перочинный нож. Лезвие тускло блеснуло в утреннем свете.

— Ты всё ещё хочешь пойти до конца?

Илья Петрович взял нож. Пальцы сомкнулись на рукояти, и он почувствовал, как дерево, тёплое от её рук, отдаёт ему невидимое тепло.

— Хочу, — сказал он.

Клавдия медленно, с трудом поднялась, достала из шкафа вторую чёрную свечу — такую же толстую, с оплывшими боками, — завернула её в тряпицу и протянула ему.

— Тогда запоминай имя. Только один раз скажу, и больше никогда не повторю, даже если будешь умолять. Слушай.

Она наклонилась к нему через стол, почти коснувшись лбом его лба, и прошептала одно слово — короткое, гортанное, тягучее. Илья Петрович почувствовал, как оно оседает в нём, как ввинчивается в память, оставляя там след, который уже нельзя стереть.

— Запомнил? — спросила она, отстраняясь.

— Запомнил, — ответил он. И понял, что никогда не забудет.

Глава 6

Клавдия не мешкала. Сказав последнее слово, она словно отключила в себе ту медленную, созерцательную старуху, что сидела напротив него за столом, и включила другую — собранную, жёсткую, привыкшую к решениям, которые не терпят отлагательств. Она накинула тот же болоньевый плащ поверх куртки, но теперь он показался Илье не просто старой одеждой, а чем-то вроде брони — выцветшей, потрёпанной, но надёжной. Переобулась в ботинки на липучках, чёрные, разношенные, с затоптанными каблуками, — левый был перемотан той же синей изолентой, что и сапог. На секунду задержалась у зеркала, висящего в прихожей, поправила пучок, который и так держался крепко, и только потом взяла сумку.

Сумка была старой, кожаной, с облезшей краской и потёртыми углами, — такие носили в восьмидесятых. Внутри она уложила три банки, предварительно завернув каждую в старую газету, — Илья Петрович заметил, что делала она это с неожиданной осторожностью, будто банки были не со странными корешками, а с чем-то взрывоопасным. Сверху легла чёрная свеча, которую Клавдия достала из того же ящика, и, помедлив, она добавила пригоршню советских пятаков — штук десять, не меньше, — которые ссыпались в карман сумки с сухим звоном, похожим на шуршание сухих листьев.

— Поехали, — сказала она, уже стоя в дверях, и в голосе её не было ни вопроса, ни сомнения. — Не люблю холод. Но раз пришёл — значит, надо.

Она вышла из дома не оглядываясь, и Илья Петрович услышал, как за их спинами дверь сама притворилась — с тем же долгим, протяжным скрипом, что и калитка. Он шагнул следом, и на мгновение ему почудилось, что дом выдыхает — с облегчением или сожалением, он не понял.

Машина стояла там же, где он её оставил, — старенький «УАЗ» с помятым крылом и пыльным стеклом. Клавдия уселась на переднее сиденье, аккуратно пристроив сумку на коленях, и застегнула ремень, хотя машина едва ли могла разогнаться до опасной скорости. Илья Петрович сел за руль, завёл мотор — движок чихнул, закашлялся, но завёлся, — и они тронулись.

Ехали молча.

Улица за окном была пустой — октябрьский день клонился к полудню, но небо оставалось серым, низким, будто натянутым над самым городом. Дома стояли одинаковые, деревянные, с покосившимися заборами и редкими огоньками в окнах. Кое-где сушилось бельё на верёвках — серые простыни, выцветшие до прозрачности, колыхались на ветру, как флаги сдавшихся крепостей. Илья Петрович смотрел на дорогу, но краем глаза видел, как Клавдия время от времени прижимает ладонь к стеклу — не к своему, а к боковому, со стороны пассажира, и что-то шепчет. Губ она почти не разжимала, но Илья слышал шипение — тихое, ритмичное, похожее на шум воды в трубах. Иногда она проводила пальцем по стеклу, и на нём оставался тот же чёрный, жирный след, что и на кухонном окне, — но через секунду след исчезал, будто его стирали изнутри.

Они выехали на трассу. За окнами потянулись поля — пустые, сжатые, с редкими стогами сена, которые издали казались могильными холмами. Илья Петрович молча вёл машину, стараясь не думать о том, что у него в кармане лежит чёрная свеча и ржавый нож, а в голове звучит имя — то самое, которое она прошептала ему на ухо. Имя прилипло к языку, к нёбу, к гортани, и он боялся произнести его даже мысленно, потому что чувствовал: оно не просто слово. Это ключ. Или призыв.

Они проехали мост через речку — мелкую, заросшую камышом, с мутной водой, отражающей серое небо. Илья Петрович мельком глянул в зеркало заднего вида и отвёл взгляд. Ему

показалось, что на заднем сиденье, прямо за Клавдией, лежит тень — не чёткая, не оформленная, а просто сгусток темноты, который не должен там быть. Он тряхнул головой, но тень не исчезла.

— Клавдия Ивановна, — начал он, и голос его дрогнул, — вы не чувствуете...

Она резко обернулась. Повернулась всем корпусом, опершись рукой о спинку сиденья, и уставилась на заднее сиденье — не на пустое место, а именно на тот угол, где Илья видел тень. Глаза её сузились, узкие ладони вцепились в обивку, и она замерла, будто прислушиваясь к чему-то, что слышала только она. Прошло несколько секунд, показавшихся вечностью, а потом она медленно повернулась обратно, села ровно и положила руки на сумку.

— Кто там? — спросил Илья, сжимая руль так, что побелели костяшки. Он уже не смотрел на дорогу — смотрел в зеркало, где тень всё ещё лежала, вроде бы не двигаясь, но пульсируя на границе зрения.

— Никого, — ответила Клавдия, и голос её был ровным, даже чересчур ровным, как у человека, который старается не выдать себя. — Показалось, кто-то сел. Но нет.

Она солгала. Илья Петрович, привыкший за двадцать лет считать ложь по глазам, по дыханию, по миллиметровым движениям век, понял это сразу. Пальцы Клавдии сжались в кулак — сухие, с узлами на суставах, — и она спрятала руки под плащом, но слишком поздно. Кто-то сел. Она видела. И не сказала, чтобы он не вылетел на встречную полосу.

Илья Петрович перевёл взгляд на дорогу, но руль держал крепко, а нога на педали газа дрожала. Он не спросил, кто именно сидит сзади. Он боялся ответа.

Остаток пути — километра три, не больше — они проехали в полной тишине, нарушаемой только шумом мотора и завыванием ветра в щелях. Клавдия больше не прижимала руку к стеклу и не шептала. Она сидела неподвижно, глядя прямо перед собой, и только когда машина затормозила у знакомого серого здания морга, она повернулась к нему и сказала:

— Он сел, Илья Петрович. Тот самый. Тот, кого мы едем встречать. Он знает, что мы приедем. И он не один. Теперь ты видишь, как я? Только не оборачивайся. Выходи из машины и не оборачивайся, пока не войдём внутрь. Если обернёшься — увидишь его лицо, и тогда он откроет глаза раньше времени. А нам нужно, чтобы он открыл их только там, на столе.

Она открыла дверцу, взяла сумку и вышла из машины, не оглядываясь. Илья Петрович заглушил мотор и, нащупав в кармане куртки холодный нож и шершавую тряпицу со свечой, сделал глубокий вдох. За спиной, на заднем сиденье, кто-то тихо, едва слышно, вздохнул — так, что волосы на затылке встали дыбом.

Он не обернулся. Он вышел и захлопнул дверцу, громко, чтобы не слышать больше этого вдоха.

Глава 7

Морг встретил их тишиной. Не той обычной, рабочей тишиной, к которой Илья Петрович привык за двадцать лет, — а другой, плотной, вязкой, будто воздух здесь застыл и превратился в желе. Свет в коридоре горел тусклый, одна лампа мигала через раз, и от этого тени на стенах то удлинялись, то сплющивались, создавая иллюзию движения там, где его не было.

Илья Петрович достал ключи — руки его дрожали, но он справился с замком со второго раз. Дверь открылась с привычным лязгом, и он шагнул внутрь, чувствуя за спиной Клавдию, которая двигалась бесшумно, как тень.

— Свет не включай, — шепнула она, когда он потянулся к выключателю. — Только тот, что горит. Ему нужен полумрак.

Он убрал руку и пошёл по коридору, ориентируясь по бледному прямоугольнику окна в конце — там, где начинался кабинет, а за ним — холодильная камера. Каждый шаг отдавался эхом, гулким и пустым, и Илья Петрович слышал, как за спиной тихо позвякивают банки в сумке Клавдии.

Они миновали кабинет. Илья Петрович взглянул на стол — бумаги лежали ровно, сдвинутые на два пальца. Он помнил, как оставил их вчера, и сейчас они лежали точно так же. Только одна деталь изменилась: на столе, поверх серых бланков, лежала монета. Пять копеек. Советских. Такая же, как в ведре у калитки.

Он остановился, хотел спросить, но Клавдия коснулась его локтя — лёгким, почти неведомым касанием — и покачала головой.

— Не трогай. Оставь. Это плата за вход. Он уже знает, что мы пришли.

В конце коридора — дверь в холодильную камеру. Тяжёлая, металлическая, с круглым окошком, за которым чернела тьма. Илья Петрович провёл пальцем по холодной поверхности ручки и замер. Из-за двери доносилось едва слышное гудение — не моторов, а что-то другое, низкочастотное, почти за пределами слышимости, отчего заныли зубы.

— Открывай, — сказала Клавдия. — Только не спеши. Сначала зажги свечу. Поставь её на порог. Когда пламя выровняется — тогда войдёшь.

Илья Петрович, повинувшись, достал из кармана чёрную свечу, завернутую в тряпицу. Развернул — пальцы слушались плохо, будто ооченели. Достал зажигалку, щёлкнул. Пламя сначала заметалось, почти погасло, но потом схватилось за фитиль и разгорелось — ровно, без копоти, синим язычком в самой сердцевине.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.